

Раздел II

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ ГОГОЛЯ-ХУДОЖНИКА: ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ И ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЦЕПЦИИ

Ю. В. Кондакова

САКРОНИМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. В. ГОГОЛЯ

Имя в художественном произведении вбирает в себя информацию об образе, который им обозначен. Но имя – это не только структурный элемент текста, определенным образом взаимодействующий с другими его составляющими, но и культурный компонент, для которого существует более широкий контекст, задаваемый философско-религиозными воззрениями автора произведения. Так как сакральное является не столько универсальной для всех религий категорией, сколько соотносительной, следует определить приоритетную теологическую систему ценностей, которой для такого автора, как Н. В. Гоголь, является христианство.

Сакральное – проявление божественной силы, трансцендентной по отношению к человеку; то, что противостоит профанному (от лат. *pro-fanus* – то, что расположено перед храмом). Понятие сакрального зависит, прежде всего, от понятий, с которыми оно связано, – «чистое» и «нечистое». Сакральное тяготеет к позитивному полюсу сверхъестественных сил, лежащих в основе бытия, и по сути своей символично. Как отмечает в своем труде «Сакральное и миф» Патрик Труссон, опыт сакрального невыразим и не может стать предметом какого-либо конкретного описания, что неизбежно требует обращения к символу. В противоположность языку, в котором слово и представляемая вещь связаны

© Кондакова Ю. В., 2007

непосредственно (до той степени, что становятся однозначными, как, например, в правилах уличного движения), система символов отражает бесконечную цепочку суггестивных значений. Сакральный символ, обладающий меньшей точностью, чем однозначный знак, многозначен и объединяет в простых и конкретных образах множество значений, что дает ему большую выразительную силу. Сакральная реальность в своей полноте выходит за пределы воспринимаемого, но выражает себя с помощью разнообразных конкретных каналов (например, чудес) и различных символов, к которым относятся и имена святых, которые даются людям. У многих народов существовали верования в особенную сакральную силу имени, в связь имени со своим владельцем. Сакральную основу имеет каждое имя, данное при крещении. Нарекая ребенка именем того или иного православного святого, родители обеспечивали его покровительство новому христианину. Православный должен был праздновать каждый год день своих именин, знать житие «своего» святого и даже пытаться подражать его праведной жизни. Таким образом, каждое конкретное имя является некой матрицей с определенными заложенными личностными свойствами, которые связаны с представлениями об архетипическом «первоносителе» этого имени.

Имена персонажей, или ономастические перифразы, имеющие в своем составе имя собственное, относящиеся к сфере сакрального, воплощающие эту особую трансцендентную, божественную реальность, мы будем называть *сакронимами*. Следует отличать сакронимы от теонимов и мифонимов. Теонимы непосредственно обозначают богов, сверхъестественных существ, включают в себя все многообразие божественных имен, т. е. имена, «которые превыше всякого имени, безымянности», которые «превосходят все, именуемое именем, как в этом мире, так и в будущем» [Мистическое богословие, 1991, 20]. Мифонимы – имена мифологических персонажей, которые даны героям каких-либо произведений, эти имена не учитывают профессиональную принадлежность автора и соответствующую ей систему ценностей, присущую его творчеству.

В гоголевском творчестве мифонимами являются имена языческих богов и богинь, которые в контексте христианских художественных систем обладают inferнальным оттенком. Так,

например, представляется значимым, что впервые Чартков изменяет себе, своему таланту, рисуя портрет Lise в образе Психеи. Греческая богиня души олицетворяет собой в художественной системе христианского писателя бездуховность. Художник теряет творческое воображение и вдохновение, заменяя их на ловкость и бойкость кисти, что приводит его к духовной, а потом и физической гибели. В семантике имен языческих богов, которые имеют место в произведениях Гоголя, также присутствует и авторская ирония. К примеру, комизм положения запутавшегося в сетях Петра Петровича Петуха, застигнутого Чичиковым, усиливается тем, что он сравнивается с Венерой Медицейской, выходящей из бани.

Творчество Гоголя включает в себя не только мифонимы, но и теонимы, а также самые глубокие в гоголевском ономастическом спектре имена – сакронимы.

По отношению к Гоголю критика постоянно впадает в те или иные крайности, то возвеличивая его до «христианского апостола, стремящегося не посмеяться над “кривою душою человека”», но пробудить в нем то «“христианское сознание грехов своих”, а тем самым и своей божественной природы» [Недзвецкий, 1997, 155], то отрешиваясь от него, как от сатаны («Сгинь, нечистый!»), и присваивая ему страшный титул «архиерея мертвечины» [Розанов, 1991, 314]. Исследователь гоголевского творчества Михаил Эпштейн отмсчает в нем «иронизм стиля, который уходит из-под контроля автора и диктует ему свою волю... когда не автор владеет стилем, а как бы стиль владеет автором и противостоит его замыслу» [Эпштейн, 1996, 129]. По М. Эпштейну, трагедия Гоголя – это трагедия творца, душа которого рвется в поднебесье, а стиль выдает дьявольскую иронию над не сумевшими возродиться персонажами. Гоголь-проповедник мог бороться с дьяволом силою религиозного вероучения, Гоголь-художник пытается бороться с чертом, «пока этот последний не обнаруживается в самом орудии борьбы, тогда оставалось только замолчать и предать отрицанию весь свой труд» [Там же].

Имя во многом должно определять бытие своего носителя, а духовный тип – притягивать к себе имя, выражающее существо этого типа. Имя – это инвариант личностного начала, поэтому, чтобы вдохнуть жизнь в своего персонажа, автору следует подобрать

своему герою имя, которое бы раскрывало его духовный облик. Сакральное имя предполагает некую формулу духовного развития героя, основанную на подражании носившему это имя святому. И именно сакронимов, представляющих светлый полюс духовной энергии имен персонажей, так не хватает ономастической системе Гоголя.

Только один сакроним обнаруживает себя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Именем-сакронимом обладает герой «Вечера накануне Ивана Купала» Ивась. Языческий праздник летнего солнцеворота, в который жгли костры на берегах рек, купались, чтобы очиститься от болезней и напастей, и искали заветный цветущий папоротник, совпадает с христианским праздником рождения Иоанна Предтечи. Мученическая смерть Ивася, безвинного ребенка, перед обезглавливанием покорно складывающего руки крестом на груди, происходит в день, когда на свет появляется Иоанн Креститель, земная жизнь которого завершается усекновением главы. Ивась умерщвлен по приказу ведьмы, Иоанн Креститель – по приказу царя Ирода, подстрекаемого своей женой Иродиадой. Сам Ирод никогда бы не осмелился казнить Иоанна, почитаемого в народе как пророк, но вынудило слово, данное дочери Иродиады Саломее, попросившей по совету матери голову Иоанна Крестителя на блюде.

М. Вайскопф обращает внимание на то, что в «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголь сумел актуализировать ключевые моменты жития Иоанна Предтечи. Так, прообразом ведьмы, скачущей над обезглавленным телом Ивася, является пляшущая Саломея, танец которой стоил Иоанну Предтече жизни. Не случайно «в украинском фольклоре черта постоянно называют Иродом» [Вайскопф, 1993, 47], что связано с истреблением младенцев, которое было содеяно по приказу Ирода, чтобы не допустить гибели для него рождения Христа. В этом контексте обращенные к ведьме слова Басаврюка: «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» – заставляют воспринимать ее как дочь Ирода. Необходимо отметить, что в фольклорном творчестве «сын Божий нередко отождествлялся с Иваном Богословом – любимой фигурой апокрифической апокалиптики, – причем Богослова нередко путали с Иоанном Крестителем» [Там же]. В «Вечере накануне Ивана Купала» в контексте гибели смиренного ребенка

«казнь Иоанна Предтечи отождествилась с избиванием младенцев, а младенец – с Христом-“агнцем”» [Там же].

Шестилетний мальчик Ивась перед лицом смерти ведет себя, как подобает настоящему мученику. Он принимает смерть ради другого человека, пусть даже тот одержим бесовским искушением. Ивась демонстрирует смирение, не упрекая ни словом, ни взглядом человека, которого когда-то спас от истязаний. И будучи в руках темных сил, ребенок не отрекается от веры, символом которой является крест. Отступником от совести и веры оказывается герой также с «неслучайным» именем – Петрусь.

Хотя имя Петрусь (Безродный – только прозвище) восходит к имени апостола Петра, имя этого гоголевского героя не является сакронимом. Петра-апостола и Петруся объединяет то, что оба они некогда не устояли перед искушением. Если апостол Петр трижды отрекается от Господа, то Петро не может устоять перед «огненным искушением» [1 Пет., 4, 12], которое было послано ему, «дабы испытанная вера... оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» [1 Пет., 1, 7]. Однако детоубийца Петр погиб без раскаяния (вместо него обет непрестанной покаянной молитвы приняла его жена Пидорка, ушедшая в монастырь), тогда как апостол Петр, который своим отречением в какой-то степени предал Христа, «плакася горько» [Мф., 26, 75; Лк., 22, 62] и поэтому получил прощение, несмотря на свое падение. Искреннее покаяние очистило апостола Петра и дало ему сил для духовных подвигов во имя Христово. Он доказал свою верность Господу мученической смертью на кресте. Михаил Вайскопф отмечает, что в «Вечере накануне Ивана Купала» представлены «две проекции евангельского образа Петра-“камня” (Петро – от petros – «камень». – Ю. К.) ...он как бы расчленился на Петра-отступника... и набожную Пидорку» [Вайскопф, 1993, 48]. Если богоугодный дар покаявшейся Пидорки (украинскому имени «Пидорка» соответствует русский вариант «Федора»: «из греч. “теос” бог + “дорон” дар» [Суперанская, 1998, 318]) – оклад к иконе Богородицы выложен необыкновенной красоты яркими камнями (ср. 1-е послание апостола Петра, в котором развивается тема «камня краеугольного, избранного, драгоценного» и «камня соблазна» [1 Пет., 2, 4–8]), то греховный клад, добытый Петрусем через детоубийство, превращается в черепки.

Человеческие имена служат проявлениями божественной энергии в мире. Сам процесс именования – творческий акт, так как при наречении именем материя встречается с идеей: представитель человеческого рода становится человеком, воплощающим идею имени. Бессмысленных имен не существует, их корни – в истории. Имя-сакроним задает личностный стержень своему носителю, определяет, формирует его, пусть даже само имя искажается, оказывается со временем «затертым», происходит «выветривание, линяние смысла» [Булгаков, 1998, 236], но тем не менее сила имени от этого не теряется. Так, философу *Хоме* (Бруту) не случайно дано имя апостола *Фома* (Хома – простонародный вариант имени).

Характерно, что Гоголь создает такое имя, как Хома Брут, которое является как бы лексическим парадоксом, сталкивающим противоположное: с одной стороны, «бытовое, весьма “прозаическое” Хома (не Фома, а по-народному, по-украински – Хома)», с другой – «высокогероическое имя, символ свободы, возвышенной легенды» или Тиберий Горобець – «здесь древний Рим звучит в имени, а “проза” быта – в прозвище (Горобець значит Воробей)» [Гуковский, 1959, 191]. Хома Брут не отличается примерным для бурсака поведением, напротив, он то вместе с Халевой нарушает данное старухе слово (притом божится), то закуливает в храме, и даже, по собственному признанию, позволяет себе разгульничать на страстной неделе. Но следует обратить особое внимание на то, что Гоголь именует бурсака философом. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, и эта номинация указывает на Хому, как на учившегося в одном из высших классов духовной семинарии («философском» классе), но в то же время она обнаруживает в Хоме задатки действительного философа гедонистического мировоззрения. Не увлекающийся философскими премудростями Хома Брут тем не менее наслаждается жизнью и с философическим спокойствием принимает все случающиеся невзгоды. Перед нами предстает человек скорее языческого мировоззрения (не случайно он использует в церкви против темных сил и молитвы, и языческие заклинания), далеко не святой, но именно он вступает в борьбу с нечистой силой. Борьба заканчивается смертью Хома, который стал жертвой собственного маловерия (апостол Фома известен тем, что не поверил

Воскресению Христа, но искупил свою вину проповедью Евангелия и мученической смертью во имя Христово), но гибнут и демонические чудища, и зла на земле становится меньше.

Имя *Мосий* также не случайно было дано герою «Тараса Бульбы» по прозвищу Шило. В «Именах, даемых при крещении», где Гоголь проводит параллели между различными украинскими именами и их русскими вариантами, значение имени «Мосий» соответствует «Моисею»¹. Обладатель сакрального имени казак Мосий (Шило – только прозвище) совершает подвиг освобождения других казаков из турецкого плена. В своих комментариях к «Тарасу Бульбе» В. А. Воропаев и И. А. Виноградов отмечают, что имя Мосий обращает нас к «Выбранным местам из переписки с друзьями», к тому месту, где Гоголь сравнивает русского монарха с «древним Боговидцем Моисеем», выведшим свой народ из египетского плена (как Мосий в «Тарасе Бульбе» – из «турецкого»)» [Воропаев, Виноградов, 1994, 453]. Сравнение царя с Моисеем имеет место в 10-м письме «Выбранных мест» – «О лиризме наших поэтов». Как полагает Гоголь, идеальный монарх – это «тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его сограждан, кто страшною ответственностью за них перед Богом освобожден уже от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы, и жаждет такими страданиями, о которых помыслить не может стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий – тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того, чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров» [6, 42].

Как и Хома Брут, обладатель сакрального имени Мосий Шило не безгрешен. Он то совершает подвиги, то попадает на воровстве. Не случайно он получает прозвище Шило (шилльник –

¹ Мосий – «Мосий, Мосиэц, Мусійко – Мойсей» [Гоголь, 1994, т. 8, 374]. Далее в тексте ссылки даются по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы.

«плут, мошенник»). Перед тем как спасти своих товарищей из плена, он не вытерпел жестокости обращения пленивших его и переменял веру. Войдя в доверие к своим бывшим мучителям, он дождался удобного момента и помог сбежать казакам, но, несмотря на благородный поступок, вина Мосия Шило очень тяжела. Он смывает ее своей кровью на поле боя, успев перед смертью попрощаться с товарищами: «Прощайте, паны-братья, товарищи! пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» [2, 292]. Гибель Шило становится символом освобождения от греховного рабства человека, находящегося в плену страстей².

О том, что в произведениях Гоголя существует некая связь между именем человека и событиями его жизни, ярко свидетельствует повесть «Шинель». Как заметил автор работы «Очерки по анализу творчества Гоголя» психоаналитик И. Д. Ермаков, имя Акакия Акакиевича Башмачкина предопределило судьбу своего владельца: «Новому представителю рода дали имя отца, исчерпав все раскрывшиеся в святцах возможности, и это имя, что чрезвычайно характерно, приходит в голову родительницы последним. Раз не выходит, не попадаетесь лучшее, придется дать имя отца одного из рода безликих Башмачкиных, которые несколькими строками выше обезличены автором в каламбуре с сапогами» [Ермаков, 1999, 250–251]³. Акакий Башмачкин принимает в наследство от отца не только фамилию и имя, но и судьбу:

² «Со святоотеческим и апостольским толкованием исхода древнееврейского народа из Египта как прообраза духовного освобождения человека от рабства греху Гоголь, вероятно, познакомился еще в Нежине. Позднее развернутое толкование библейской книги “Исход” Гоголь мог почерпнуть в сочинении учителя Православной церкви IV в. св. Григория Нисского “О жизни законодателя Моисея”, напечатанном в 1831 г. в журнале “Христианское чтение”» [Воропаев, Виноградов, 1994, 453].

³ Характерно, что в «Шинели» имя отца Башмачкина приходит в голову матери Акакия Акакиевича последним: «...видно его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий» [Гоголь, 3, 110]. Ю. Манн увидел в этом эпизоде «редукцию мотива родовой вины». «Крестившие Акакия Акакиевича отказались от дальнейших “поисков”, уступили “судьбе”. В сыне несчастья отца, истекающие из неудобного имени, удвоены, как бы возведены в квадрат» [Манн, 1996, 457].

«Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник» [3, 110]. Обратим внимание на то, что в начале «Шинели» Гоголь иронически описывает ситуацию замены имени чином: «Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится репительню всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже в совершенно пьяном виде» [3, 109]. Гоголевский герой настолько сжился со своим чином, что воспринимает его как собственное имя. Так как имя является идейным ядром своего носителя, то оскорбление всякого капитана-исправника воспринимается как личное оскорбление (ср. в «Носе»: самым страшным оскорблением для коллежского асессора Ковалева, называющего себя майором, стало утверждение частного пристава о неприличном поведении многих майоров).

Разумеется, что многие люди являются носителями одного имени. Имя представляет собой определенный духовный тип, но воплощается в индивидуальных экземплярах. Чин также распределяет человеческий род по классам, но не обладает духовным значением. Заменяющий собственное имя чин являет собой насилие над именем, парализует его силу, его энергию, его власть. Впрочем, чин титулярного советника становится частью имени Башмачкина, не случайно в «Шинели» сначала рассказывается о служебном положении Акакия Акакиевича, а затем читателю представляют фамилию и имя героя. «Вечный титулярный советник» [3, 109] вызывает насмешки сослуживцев и неуважение всего департамента, но сам он не обращает внимания на безразличие и издевательства окружающих, он погружен в свою работу: «...вряд ли где можно было бы найти человека, который *так жил бы в своей должности* (курсив мой. – Ю. К.)» [3, 111].

Следом за чином говорится о фамилии Башмачкина, ее незамысловатость подчеркивает незавидное положение забитого чиновника, на что указывает вариант фамилии Акакия Акакиевича в одной из ранних редакций – «Тишкевич», которая затем была заменена на «Башмакевич» и далее преобразилась в «Башмачкин» (от «башмак»; ср. выражение «находиться под башмаком» –

т. е. быть в полной зависимости, в беспрекословном подчинении; уменьшительный суффикс подчеркивает всю приниженность Башмачкина). Гоголь, этимологизируя фамилию своего героя, иронизирует над ней: «Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно» [3, 109]. И наконец, только затем следует упоминание о главном – об имени, унаследованном от отца, имени мученика Акакия.

Большое количество персонажей в гоголевских произведениях с аналогичными именами и отчествами призваны подчеркнуть необычность обычного приема именования, когда имя «дублируется» отчеством. Многократное использование этого приема – попытка автора стереть грани между миром реальным и миром потусторонним, родовым, отраженным в сознании человека. Но это родовое начало может быть либо затемненным, непроявленным, либо цельным, энергетически сильным, в силу чего смысл имени также воспринимается как исторически формирующаяся целостность. «Удвоенные» имена в творчестве Гоголя нередко подчеркивают пошлость их носителей (например, Иван Иванович Перерепенко, Демьян Демьянович, Евтихий Евтихиевич, Елевферий Елевфериевич, Тарас Тарасович, другой Иван Иванович – «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»; Федосей Федосеевич, Петр Петрович Самойлов, Илья Ильич, Федор Федорович Перекрсов, Петр Петрович Петух, Федор Федорович Леницын, Семен Семенович Хлобуев – «Мертвые души»; Пифагор Пифагорович Чертокуцкий – «Коляска»; Балтазар Балтазарович Жевакин – «Женитьба»; и др.). Эти имена выявляют духовную опустошенность своих владельцев, омертвление их душ. Смешиваясь с себе подобными, такие имена демонстрируют преемственность, передачу из поколения в поколение духа срединности. Но Акакий Акакиевич – исключение из этого правила.

Житийные традиции в повести «Шинель» очевидны⁴. Необходимо заметить, что житие св. Акакия было собственноручно

⁴ Впервые параллель между образом Башмачкина и святым Акакием Синайским отметил голландский ученый Ф. Дриссен [см.: Drissen, 1965]. О контаминации в образе Акакия Акакиевича Башмачкина черт св. Акакия Синайского и мученика Акакия см.: [Ветловская, 1999].

переписано Гоголем и включено в выписки «Из книги: “Лествица, возводящая на небо”». Итальянская исследовательница Ч. де Лотто делает вывод о несомненности переклички «Шинели» с «Лествицей» преподобного Иоанна Синайского и об ориентации образа Акакия Акакиевича на житие св. Акакия, приведенное в «Лестнице» [см.: Лотто, 1993]. Участь Акакия Акакиевича во многом повторяет судьбу святого Акакия: обладающий стоическим терпением человек претерпевает жестокие унижения, умирает от несправедливости и затем обретает жизнь после смерти. Имя мученика как бы предрекло участь своего носителя.

Акакия Акакиевича отличает аскетическое равнодушие к вещественным благам этого мира, он не обращает внимания ни на вкус пищи, ни на материальные неурядицы своей жизни. Он без каких бы то ни было жалоб и претензий, стоически переносит обиды и насмешки окружающих. Кроткий Акакий Акакиевич работает, словно творит послушание, но переписывает не сакральные тексты, а чиновничьи бумаги. Ничтожество смысла в сочетании с безграничной любовью к буквам подчеркивает бесконечную стойкость смиренного переписчика, что роднит его со св. Акакием. Застенчивый и изъясняющийся по большей частью предложениями, наречиями или непонятными частицами, Акакий Акакиевич, в самом имени которого налет заикания, тем не менее наделен даром видеть в обыденности деловых бумаг целый мир. В процессе переписывания Акакий Акакиевич «возвращает буквам их Божественный сакральный смысл... что бы ни означали слова, составленные из этих букв, возвращение им их сакральной сущности уже одна из форм утверждения Божественного света» [Грекова, 1997, 234–235]. Шинель, которая отвлекла Акакия Акакиевича от его трудов, становится искушением, соблазном, лишает его душевного спокойствия. Мечты о шинели способствуют изменению личности: «С лица и поступков его исчезли само собою сомнение, нерешительность – словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, кунцу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул “ух!” и перекрестился» [3, 120].

Переродившись, Акакий Акакиевич изменяет своему имени. Он теряет защиту от зла внешнего мира и уже не может соответствовать имени мученика, в котором присутствует семантика невинности. Приглашенный на вечер по поводу покупки новой шинели Башмачкин впервые оставил свои труды и «посибаритствовал на постели» [3, 123]. По дороге он с любопытством останавливается перед весьма фривольной картиной, изображавшей хорошенькую женщину, которая скидывает с себя баппачок, обнажив при этом ножку, и подглядывающего за ней мужчину. Как отмечает М. Вайскопф, «притягательная картинка получает пародийно-реалистический смысл, трансформируясь в дряхлую “невесту”, встречающую ограбленного героя – раздетую старуху “с башмаком на одной только ноге”... тут обыгрывается мотив “ножки” из “Вия”, причем последовательность превращений женского образа дана будто в обратном порядке – не от старухи к девушке, как там, а наоборот» [Вайскопф, 1993, 348–349]. Добавим, что инфернальная сущность картины проявляется еще и в том, что она дублирует сюжет литографии из «Носа» «с изображением девушки, поправляющей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою» [3, 120]. Фривольная картинка, выставленная в витрине магазина, заменяет демонстрацию носа, которая, по слухам, устраивается в магазине *Юнкера*. Между прочим, в «Записках сумасшедшего» чин именно камер-юнкера является предметом греховной зависти титулярного советника Поприщина. Желание высшего чина совмещается в сознании Поприщина с пониманием бессмысленности чиновничества: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что он камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него нос не из золота сделан, а так же как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» [3, 158]. Раздвоение сознания приводит Поприщина к сумасшествию.

Демоническая шинель искажает личность Башмачкина, он даже начинает вести себя как Пирогов, герой «Невского проспекта», любитель амурных походов. С вечера Акакий Акакиевич «шел в веселом расположении духа, даже подбежал вдру

за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Не случайно шинель описывается чуть ли не «спутницей жизни» [3, 122] Башмачкина, она замещает живое тело: «...угадать перенос смысла с тела на одежду нетрудно: тут такие же, как у тела “спина”, “плечи”, “грудь” и даже “руки-рукава”» [Карасев, 1993, 85]. Шинель, порабошающая помыслы героя, становится не только символом пристрастия человека к земным ценностям, но и демоническим двойником Акакия Акакиевича: украденная шинель «как бы умирает, и вслед за ней умирает уже на полном серьезе сам Башмачкин» [Там же, 86]. Трагедия Акакия Акакиевича состоит в том, что он перестает соответствовать имени своего святого. Акакий Акакиевич непричастен злу, но его кроткое имя *А-какий* содержит в себе компонент «какос» – зло (греч.), который активизируется с появлением в жизни Башмачкина инферальной шинели.

Имя с символическим значением играет роль пронизанного творческой энергией микрокосма, который определяет весь макрокосм произведения. Имя выражает бытийную субстанцию героя, представляя собой откровение об его имени. Семантика имени Улиньки Бетрищевой (Иулиании) имеет житийно-монашеский оттенок. Имя Улиньки связано с именем Иулиании Осорьиной, житие которой представляет собой повествование о жизни женщины, всецело преданной семье, посвятившей себя служению своим близким. Характерно, что Улинька горячо любит своего отца, ее сердце отзывчиво на чужую боль. Но в ней нет покорности житийной героини: Улинька порывиста, резка, особенно когда речь идет о человеческой подлости. Не случайно анекдот Чичикова о «черненьких» и «беленьких» возбуждает в ней только гнев и грусть о безнаказанности бесчестного поступка, но не христианскую скорбь о гибнущей человеческой душе.

Хотя Чичиков⁵ является мошенником, придумавшим блестящую аферу со скупкой мертвых душ, но при всей его греховности на возможность духовного возрождения указывает его имя –

⁵ Сама фамилия «Чичиков» указывает на черты пошлого «телесного» человека в облике своего носителя: «характерное удвоение слогов (возможно, по аналогии с фамилией писателя) не только намекает на двойственную природу героя, на повторяемость и постоянство, но и создает звуковой образ,

Павел⁶. Представляется любопытным, что с апостола Павла был написан портрет, «изображающий маленького лысого человека с кривыми ногами и носом с горбинкой» [Басле, 1999, 12]. Средневековый портрет Павла вполне соответствует неопределенному облику Павла Ивановича Чичикова, «господина средней руки», который, как отмечает Гоголь, «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако и не молод» [5, 11].

Как отмечают Гольденберг и Гончаров, имя Павел в русской культурной традиции воспринималось как синоним «апостола», а отчество Иванович, являясь знаком национальной принадлежности персонажа, опосредовано номинативными традициями русского народного эпоса, где это отчество получают богатыри.

Еще в «Страшной мести» появляется упоминание об апостоле Павле как о грешнике, ставшем святым⁷. Павел, носивший еврейское имя Савл, был гонителем христианской веры, «верующих в Господа заключал в темницы и бил в синагогах» [Деян., 19, 22]. Он был уверен в своей правоте и не просто содействовал апостольским преследователям, но был их главою, действуя от имени первосвященников. Узнав, что в Дамаске скрываются многие из учеников Христа, Савл отправился туда с намерением выследить их и в оковах отправить в Иерусалим на истязания. Но по пути в Дамаск Савл увидел необычайный свет, льющийся с неба, который ослепил гонителя, и в это же время ему открылся Иисус Христос, повелевший Савлу идти в Дамаск. Сопровождавшие его повели своего начальника под руки в город, где бывший помощник первосвященников три дня молился о своем прощении. По истечении этого времени к Савлу явился христианин Анания, который был избран Господом для исцеления Савла и который

в котором внимательный читатель мог услышать и намек на идею телесного, плотского начала Чичикова. Этот образ возникает в «итальянском» контексте создания поэмы (ср. ит.: *ciccia* (чичча) – тело, тела (разг.); *ciccione* (чиччонэ) – толстяк (разг.); *cicalone* (чикалонэ) – болтун)» [Гольденберг, Гончаров, 1994, 37].

⁶ См. о параллелях между образом Павла Ивановича Чичикова и апостолом Павлом: [Гольденберг, Гончаров, 1994, 31–40].

⁷ «Ты не знаешь еще, как добр и милостив Бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой он был грешный человек, но после покаялся и стал святым» [1, 146].

возложением рук и именем Господним вернул ему зрение. Прозревший Савл раскаялся. Получив новое имя Павел, он не только принял в свое сердце Христа, но и стал проповедником его учения. По всей видимости, Гоголя поразило внезапное и совершенное перерождение личности апостола Павла, которое произошло под влиянием слова Господня. Образ раскаявшегося грешника стал занимать мысли писателя, так и возник образ Чичикова, героя, который должен был измениться и начать новую жизнь. Как отмечает сам Гоголь, «может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что повернет в прах и на колени человека перед мудростью небес» [5, 221].

Действительно, в житии апостола Павла и в рассказе автора о жизни Чичикова есть много общего. Прежде всего, в воспитании и Павла, и Чичикова присутствовала нетерпимость и суровость. Итоги подобного воспитания сходны. Павел (Савл), выросший в семье, главой которой был убежденный националист и ревностный фарисей, сам стал подобием своего отца, одним из самых жестоких доносчиков. Павел Чичиков, с детства приучаемый к мысли, что материальное благосостояние человека составляет главное его счастье и является первой целью в жизни, старается сделать состояние. Для этого он сначала поступает на службу в казенную палату, где получает первое повышение с помощью угодничества и беззастенчивой лжи: он втирается в доверие к своему начальнику, войдя в дом женихом его некрасивой дочери, а затем, получив повышение, «забывает» о свадьбе. Неожиданное назначение нового начальника, который невзлюбил Чичикова, мешает ему сделать карьеру в казенной палате. Тогда он оставляет начатое дело и поступает на таможенную, где также пытается составить состояние, проворачивая незаконные дела. И опять вмешивается случай: в результате ссоры, затеянной с другим чиновником, Чичиков теряет и эту службу. Наконец, и третья авантюра, в которую пускается Чичиков, – торговля мертвыми душами, и самая последняя афера с наследством, сулящая значительные выгоды, также завершается неудачей.

В судьбе Савла самое значительное событие происходит тогда, когда он готовится совершить важнейшее поручение первосвященников – захватить учеников Христа, но в этот момент он

лишается зрения⁸. Интересно, что перелом в жизни Чичикова наступает в тот момент, когда он ожидает получения наследства, но попадает вместо этого в тюрьму. Примечательно, что в ранней редакции второго тома после того, как князь высказывает обвинение Чичикову, он бледнеет, а в поздней редакции у него темнеет в глазах, происходит символическое ослепление: «Свет помутился в очах у Чичикова». И как к Савлу приходит с Христовым словом апостол Анания, так и к Чичикову является с проповедью о праведной жизни и спасении души Муразов⁹: «Павел Иванович, успокойтесь; *подумайте, как бы помириться с Богом, а не с людьми; о бедной своей душе подумайте*» [5, 440].

Примечательно, что появление Анании способствует и физическому, и нравственному прозрению Савла. Чичиков же еще в беседе с Муразовым начинает переосмысливать свою жизнь, которая кажется ему теперь горькой, никчемной, искаженной «суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то *мутное, занесенное зимней вьюгой* окно» [5, 443], а после ухода Муразова Чичиков чувствует в себе значительные перемены и готовность к истинному покаянию: «Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим дать почувствовать; сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уже совсем негодный. Есть способности к хозяйству; я имею качества бережливости, расторопности и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться» [5, 444]. Новая, трудолюбивая жизнь стала так ярко

⁸ Обратим внимание на то, что преображение св. Павла произошло на пути в Дамаск, и то, что образ дороги и образ Чичикова неразрывно связаны в «Мертвых душах» тоже не случайно.

⁹ Следует обратить внимание на то, что в речи Муразова, обращенной к Чичикову, присутствуют реминисценции из посланий апостола Павла. Так, в увещании Муразова: «Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества» [5, 342–343], – присутствует скрытая реминисценция слов святого апостола Павла в Послании к галатам: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» [Гал., 5, 15]. См. об этом: [Воропаев, Виноградов, 1994, 582].

рисоваться перед внутренним взором Чичикова, что он был готов возблагодарить судьбу за тяжкое, но необходимое испытание. Характерно, что об этой целительной роли внутреннего зрения идет речь во Втором послании к коринфянам апостола Павла. Павел писал об ослепленных умах людей, заботившихся только о внешнем, суетном, людей, обреченных на гибельное тление. Спасутся люди, заботящиеся о духовном, а поэтому день ото дня обновляющие свою жизнь, пекущиеся о своих душах, которые просветляются при обращении к Господу.

Абсолютного перерождения Чичикова не произошло: появление Самосвистова, обещавшего ему скорое решение его дела, а затем и заветной шкатулки вновь заронили в его душу соблазны: «...уже начали ему вновь грезиться какие-то приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали казаться бледней, город и шум – опять ярче, ясней» [5, 446]. Хотя в Чичикове все-таки произошли перемены: уезжая из города, он ощущает их в своей душе, состояние которой можно сравнить с «разобранном строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план, и работники остались в недоуменье» [5, 452]. Однако Павлу Чичикову далеко до преображения апостола Павла, возможно, именно «плотская», приземленная фамилия прогнозирует нам то, что в жизни Чичикова не случится великой духовной катастрофы, пошлость, как личина, выест, а затем полностью подменит собой истинное «я» героя.

Сакроны составляют «положительный полюс» гоголевской антропонимической системы. Но встречаются они крайне редко, в целом в системе имен наблюдается явный крен в сторону имен inferнальных, странных, труднопроизносимых (необычность которых особенно остро ощущается на фоне обыкновенных). Темное начало, поглощающее личность, проявляет себя в именах героев Гоголя. Как отмечает В. И. Мильдон, «гоголевские имена... лишь с виду скроены по человеческой мерке, за ними прячутся отнюдь не человеческие лица, а нечто “подземное”, для приличия прикрытое именем, чтобы хоть как-то определить то, чему в нормальном обиходе нет названия» [Мильдон, 1998, 66]. Этот перекося антропонимической системы демонстрирует то, что,

несмотря на желание Гоголя направить силу своего творчества на создание идеала, ему был дан талант изображения зла. Сакронимы в гоголевских произведениях неоднозначны: они то искажаются (Хома Брут), то сочетаются либо с сомнительными прозвищами (Хома Брут, Мосий Шило), либо со смешными или странными фамилиями (Акакий Башмачкин, Павел Чичиков), – таким образом происходит аккумуляция и агглютинация имен. Сами имена демонстрируют духовную катастрофу своих носителей (то, что стало возможным в жизни грешника Савла, ставшего апостолом Павлом, невозможно для Павла Чичикова, судьба которого скорее пародия на мистическое преображение). Инфернальный стиль, владеющий автором, стал художественной трагедией Гоголя, который при создании имен для своих героев придавал большое значение духовно-религиозному аспекту, но вместе с тем крайне редко давал своим персонажам сакральные имена.

Басле М. Ф. Апостол Павел. Ростов н/Д, 1999.

Булгаков С. Н. Философия имени. М., 1998.

Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М., 1993.

Ветловская В. Е. Житийные источники гоголевской «Шинели» // Рус. лит. 1999. № 1.

Воропаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии к «Тарасу Бульбе» // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 2.

Гольденберг А. Х., Гончаров С. А. Легендарно-мифологическая традиция в «Мертвых душах» // Русская литература и культура Нового времени. СПб., 1994.

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994.

Грекова Е. В. Социально-бытовые и христианские начала в повести Н. В. Гоголя «Шинель» (к вопросу о трехверсионном считывании текста) // Русская литература XIX века и христианство. М., 1997.

Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Гоголя // Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин. Гоголь. Достоевский. М., 1999.

Карасев Л. В. Гоголь и онтологический вопрос // Вопр. философии. 1993. № 8.

Лотто Ч. Лестница «Шинели» // Там же.

Манн Ю. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.

Мильдон В. И. Эстетика Гоголя. М., 1998.

Мистическое богословие. М., 1991.

Иедзвецкий В. А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя как художественная проповедь // Русская литература XIX века и христианство.

Розанов В. Опавшие листья. М., 1991.

Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М., 1998.

Эпштейн М. Ирония стиля: демоническое в образе России // Новое литературное обозрение. 1996. № 19.

Driessen F. C. Gogol as a Short-Story Writer: A study of His Technique of Composition. The Hague, 1965.

Е. А. Четвертных

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» Н. В. ГОГОЛЯ: ПОВЕСТЬ О ХУДОЖНИКЕ И ЧЕРТЕ

«Ночь перед Рождеством» (1830), как и большинство повестей, входящих в «Вечера на хуторе близ Диканьки», привлекает исследователей в связи с проблемой «чертовщины», изображения нечистой силы в произведениях Гоголя. При этом, как правило, учитывается традиция (фольклорная, театральная, литературная), которой следует Гоголь: так, В. В. Гиппиус указывает, что победа над «вертепно-сказочным чертом» в «Ночи перед Рождеством» «приписана благочестивому кузнецу, который и в популярных бродячих сюжетах является защитником Христа и победителем дьявола...» [Гиппиус, 1994, 33], само комическое изображение черта соотносится опять же с вертепом и бытовой сказкой [см.: Дмитриева, 2003, 145] или прозой немецких романтиков [см.: Манн, 1988, 22]. В подобных случаях «Ночь перед Рождеством» воспринимается как история о находчивом *кузнеце* и незадачливом черте: «совсем домашний», «забавный бедный чертик» в «Ночи перед Рождеством», по мнению Г. А. Гуковского, «исправно служит счастью влюбленных» [Гуковский, 1959, 36], нечистая сила кажется укрощенной, едва ли не прирученной.

Но в контексте романтической литературы, активно разрабатывавшей тему искусства и творческой личности, возможно иное